

Побуждение Ума
Попаданец. Нищие духом,
или игра в будущее



Побуждение Ума Попаданец. Нищие духом, или игра в будущее

<https://litres.ru/73544287>

SelfPub; 2026

Аннотация

Он не хотел ничего менять. Бухгалтер из спального района, одинокая квартира, кошка Марфа и вечная пустота в глазах. Но однажды Илья Ильич проснулся в 1869 году.

Здесь пахнет сеном, люди смотрят в глаза, спорят о будущем России. Здесь появляется Анна — девушка с серыми глазами, чей взгляд заставляет сердце биться заново.

Илья знает то, чего не знают они. Про 1917-й, про 1937-й, про лагеря и расстрелы. Почти все они обречены. Знание будущего становится проклятием. Как спасти тех, кого полюбил? Как выбрать между предательством и смертью?

А потом — возвращение. Серое утро 2026-го, пластик и выхлопы. И рубль 1869 года в кармане халата, доказывающий, что всё было правдой.

Это роман о том, как человек, мёртвый при жизни, находит душу в прошлом — и решается на единственный важный шаг в настоящем. Потому что любовь сильнее времени. А жить — значит любить. Здесь. Сейчас. Одного человека.

Содержание

Сцена 1. Будильник	4
Сцена 2. Завтрак	8
Сцена 3. Ванная	12
Сцена 4. Дорога до метро	16
Сцена 5. Офис	21
Сцена 6. Рабочий процесс	26
Сцена 7. Обед	31
Сцена 8. Возвращение домой. Вечер	36
Сцена 9. Вечер дома	42
Сцена 10. Телевизор	46
Сцена 11. Интернет	51
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Побуждение Ума

Попаданец. Нищие духом, или игра в будущее

Сцена 1. Будильник

Звонок ворвался в сон, как заноза под ноготь — резкий, металлический, неумолимый. Старый будильник, ещё бабушкин, с круглым циферблатом и двумя молоточками по железной крышке, надрывался на тумбочке, подпрыгивая от собственной ярости. Илья Ильич уже не спал. Он лежал на спине с открытыми глазами и смотрел в серый потолок, где от угла к люстре тянулась знакомая трещина — карта его собственной жизни, давно пройденная и не сулившая открытий.

Несколько секунд — или минут? — он просто лежал, не чувствуя тела. Потом сознание, нехотя, как вода в засорившуюся раковину, стало просачиваться в него отдельными предметами: вот звон, вот холодок от приоткрытой форточки, вот тяжесть на ногах. Марфа. Кошка сидела у него на шиколотках, грузная, тёплая, и смотрела жёлтыми немигаю-

щими глазами. Она не мяукала — она просто ждала, когда человек вспомнит, зачем просыпаются по утрам.

— Ну, — сказал Илья Ильич в потолок. Голос был сильным, чужим. — Чего ты?

Марфа моргнула и, не меняя выражения морды, протянула лапу к его лицу. Когти, выпущенные ровно настолько, чтобы царапнуть, прошлись по щеке. Есть. Кормить. Вставай, лежебока.

— Зараза ты, — беззлобно произнёс он, не шевелясь.

Будильник всё звонил. Можно было бы купить новый, электронный, с приятной музыкой или пиканьем. Но он не покупал. Этот, бабушкин, был надёжным. Илья Ильич привык к его злости. Привык к тому, как резко, без предупреждения, он выбрасывает его из небытия в это — в утро, в работу, в пустоту. Менять привычки было страшнее, чем терпеть звон. Страшнее? Или просто лень. Он и сам не разобрал бы.

Правая рука сама, без команды, нащупала кнопку на макушке будильника, надавила. Тишина упала на уши ватой, но тотчас же заполнилась другими звуками: шорох шин по мокрому асфальту за окном, мерное гудение лифта в подь-

езде, далёкий, приглушённый бетоном голос женщины, кричавшей на ребёнка. Жизнь за стеной. Чужая, громкая.

Он сел. Рывком, которого сам от себя не ожидал, и замер, свесив ноги с кровати. Холодный линолеум неприятно, по-осеннему, лизнул ступни. Илья Ильич устался на свои ноги. Бледные, худые, с длинными пальцами и пожелтевшими ногтями — ноги человека, который целыми днями сидит. «Куда ты идёшь?» — подумал он вдруг, глядя на них, как на что-то постороннее. Мысль была негромкой, вялой, но отчего-то липкой, как паутина на лицо.

Куда я иду? Куда я вообще иду, Господи?

Вопрос повис в воздухе, смешался с запахом пыли от старого ковра на стене, с серым светом, сочившимся сквозь немытое окно. За окном было то, что называется «осеннее петербургское утро» — низкое небо, мокрый асфальт, фанатично-красный свет светофора на перекрёстке. Всё это он видел тысячу раз. Всё это было им самим — давно знакомым, нерадостным, но привычным.

Марфа спрыгнула с кровати, подошла к пустой миске на кухне, которая виднелась из-за угла, и села рядом, демонстративно повернувшись к нему спиной. Спина у неё была толстая, ленивая, и вся эта поза говорила: «Делай что хо-

чешь. Я здесь ни при чём. Но если ты, конечно, не встанешь и не насыплешь... Впрочем, мне всё равно».

Илья Ильич вздохнул. Пальцы ног поджались, пытаясь наступать тапки. Вставать было не просто трудно — вставать было бессмысленно. Но механизм, заведённый годами, уже включился: сейчас он встанет, дойдёт до кухни, насыплет Марфе корма, поставит чайник, потом умоется, оденется, выйдет... И так каждый день. И завтра так. И послезавтра.

Он посмотрел на свои ступни ещё раз. Они казались чужими, не его. Ногами куда-то идти. А куда? Зачем?

— Эх, — сказал он вслух, неизвестно к кому обращаясь. То ли к Марфе, то ли к ногам, то ли к тому, кто, может быть, слышал этот тихий утренний вопрос в промозглой пустоте спального района.

Тапки нашлись. Левый, правый. Холод линолеума сменился засаленным теплом старой кожи. Механизм щёлкнул, завёлся. Илья Ильич встал и, чуть сутулясь, пошёл на кухню — кормить кошку, потому что это было единственное действие, не требующее ответа на вопрос «зачем».

Сцена 2. Завтрак

Чайник закипел и выключился с привычным металлическим щелчком. Илья Ильич стоял у плиты и смотрел, как в маленькой кастрюльке бьётся о стенки яйцо — вода бурлила, яйцо послушно каталось, и в этом движении была какая-то тупая правильность. Он засекал время по часам на микроволновке: семь минут. Всегда семь. Бабушка учила: чтобы яйцо было всмятку, надо семь минут. Бабушка умерла десять лет назад, а яйцо всё варилось семь минут. Механизм.

Он выключил газ, слил воду, положил яйцо в фарфоровую подставку — тоже бабушкину, с оббитым краем и золотистым ободком. Достал хлеб из пакета, отрезал два ломтя. Нож тупой, крошит. Можно было бы наточить. Можно было бы купить новый. Но этот — привычный, рука знает его вес.

Телевизор работал сам по себе. Илья Ильич включил его, когда вошёл на кухню, движением, не требующим участия мозга — палец нажал кнопку, экран моргнул, заговорил. Теперь из маленького ящика в углу лился бодрый, уверенный голос. Диктор, женщина с идеальной укладкой и зубами, которые никогда не болели, сообщала:

— ...позитивная динамика сохраняется второй квартал подряд. Эксперты связывают это с успешной реализацией стратегии устойчивого роста. В 2026 году Россия уверенно входит в пятёрку...

Илья Ильич намазывал масло на хлеб. Масло было холодное, ложилось неровно, рвало мякиш. Он слушал голос и не слышал его. Слова текли мимо, как вода по стеклу. "Рост", "устойчивость", "пятёрка" — звуки, собранные в предложения, которые ничего не значили здесь, на этой кухне, где пахло старым линолеумом и кошачьей едой.

— ...по прогнозам аналитиков, уровень жизни продолжит повышаться...

Он сел на табуретку. Табуретка скрипнула — жалобно, устало, как скрипят старые люди, когда встают. Яйцо в подставке смотрело на него белым немигающим глазом. Илья Ильич чистил его, снимая скорлупу мелкими кусочками. Плёнка отходила плохо, прилипала к белку. Он думал о том, что яйцо переварено. Или не доварено? Он уже не помнил, каким оно должно быть. Просто жевал.

Вкуса не было. Вообще. Хлеб, яйцо, масло — что-то попадало в рот, двигалось языком, проглатывалось. Тело делало своё дело, пока голос из телевизора обещал ему прекрас-

ное будущее, которое уже наступило. Где-то там, за стенами этой кухни, люди жили лучше, богаче, счастливее. Эксперты сказали. А здесь, в Купчино, за окном было серо, и яйцо было безвкусным, и кошка тёрлась о ноги, напоминая, что она — единственная, кто ждёт от него чего-то реального.

Марфа мякнула. Коротко, требовательно. Илья Ильич посмотрел вниз: толстый серый бок тёрся о его щиколотку, хвост стоял трубой, жёлтые глаза смотрели на холодильник. Там, в холодильнике, стоял пакет с молоком. Он купил его вчера, потому что Марфа любит молоко. Не потому что она нуждается — корм у неё есть, — а потому что любит. Это было единственное, что имело значение.

Он встал, достал пакет, налил в плошку. Марфа сразу ткнулась мордой, застучала языком. Илья Ильич смотрел, как она пьёт. Маленькие розовые уши шевелились, на носу повисла белая капля. Кошка была живая. Она хотела молока, она пила его, и для неё это было сейчас самым главным в мире.

— Пей, — тихо сказал он. — Пей, дура.

Вернулся к столу. Чай остыл. Он пил его чёрным, без сахара, просто чтобы налить в себя что-то тёплое. Телевизор вещал о новых технологиях, о цифровизации, о том, как пре-

красно жить в 2026 году, когда всё у тебя под рукой. Илья Ильич смотрел в окно. Небо висело низко, плотно, как ватное одеяло, которым накрыли город, чтобы он не дышал. Серое. Тёплое. Удушливое.

"Вот так и живём, — подумал он без горечи, просто отмечая факт. — Жуём, спим, работаем. А душа? А душа, видно, в командировке. Или вообще уволилась".

Он допил чай, сполоснул чашку, поставил в сушку. Марфа, налакавшись молока, уже сидела на подоконнике и умывалась, равнодушная к его мыслям, к новостям, к серому небу. Она была сыта. Она была довольна. Илья Ильич посмотрел на часы на телефоне. Пора было собираться. Механизм работал дальше, независимо от того, уволилась душа или просто взяла отпуск за свой счёт.

Сцена 3. Ванная

Из крана капало. Капля собиралась медленно, набухла на носике, дрожала и срывалась в раковину с равномерной, издевательской периодичностью. Илья Ильич стоял перед зеркалом и не узнавал себя.

Он видел это лицо каждое утро в течение сорока двух лет, но сегодня оно было особенно чужим. Кафель за спиной, старый, с трещинами и желтизной по швам, напоминал больничный — здесь лечили зубы? Нет, здесь просто жили. Здесь жил он. И это существо с серой кожей, мешками под глазами и небритой щетиной, торчащей редкими седыми волосками, называло себя Ильёй Ильичом.

Он смотрел в глаза. В собственные глаза. Серо-голубые, выцветшие, с красными прожилками у белков. В них не было злости, не было радости, не было даже горя — было что-то похожее на выжидательную пустоту. Как в комнате, которую давно покинули, но забыли выключить свет.

— Кто ты? — спросил он вслух. Голос прозвучал глухо, об стену облезлой плитки.

Тишина. Только капля: бух. Бух.

— Илья. Илья Ильич, — ответил он себе, но это было не ответом. Это было именем, ярлыком, приклеенным к телу при рождении.

— А по сути?

Зеркало молчало. Глаза в зеркале смотрели на него с тем же вопросом, который он задал им. Они не знали. Они тоже не знали, кто он такой. Они просто отражали свет, падающий от лампочки под потолком, и ждали.

— То-то же.

Он приблизился к зеркалу, почти касаясь лбом холодной поверхности. Всмотрелся в зрачки, пытаясь найти там искру, теплоту, что-то живое, что должно быть у человека, который просыпается, ест, ходит на работу. Там было темно. Не чернота, нет — именно пустота. Стеклянная, гладкая, чистая пустота. Как у рыбы на прилавке. Которая уже не дышит, но ещё пахнет морем.

Лицо было маской. Он провёл пальцами по щеке — кожа чувствовала пальцы, пальцы чувствовали кожу, но ощущение было таким, будто трогаешь чужого. Надел чужую маску

и забыл, когда снимал. Или снимать уже нечего, под маской — просто каркас, вешалка для одежды.

Он дёрнул вентиль. Холодная вода хлынула в раковину, разбивая капли, которые копились так долго. Илья Ильич зачерпнул ладони, плеснул в лицо. Ледяная, обжигающая, она ударила по коже, затекла за воротник старой майки. Он плеснул ещё и ещё, растирая лицо ладонями, будто пытаясь стереть с него это выражение, эту пустоту, эту проклятую маску, въевшуюся в поры.

— Ну же, — прошептал он в мокрые руки. — Очнись. Будь живым. Будь...

Что значит «будь»? Как это делается? Кто учил? Он не помнил, чтобы его когда-нибудь учили быть живым. Его учили быть удобным, тихим, незаметным, вовремя платить налоги, не сорить в подъезде, уступать место старикам в метро. Быть живым — этому не было инструкции.

Он поднял голову. С зеркала вода стекала мутными дорожками, и лицо в нём было искажено, разбито этими потоками, словно треснуло окончательно. Глаза смотрели оттуда же, из-за стёкол, мокрые, покрасневшие, но всё такие же пустые.

Мысли не смылись. Они прилипли к черепу изнутри, как та же плёнка от яйца, которую он утром отдирает от белка. «Кто ты?» — стучало в висках в ритме капли. «А по сути?» — бухало сердце где-то в горле.

Он взял полотенце. Махровое, старое, с дыркой у края. Вытер лицо, сильно, грубо, почти до красноты. Потом повесил полотенце обратно на крючок, поправил его машинальным движением и вышел из ванной, плотно прикрыв за собой дверь.

Капля в раковине всё ещё набухла, падала, набухла, падала. Ей не нужно было знать, кто она. Она просто падала. Илье Ильичу это умение было недоступно.

Сцена 4. Дорога до метро

Илья Ильич вышел из подъезда и сразу попал под дождь. Мелкий, осенний, вьедливый — он не мочил, а скорее пылил в воздухе, оседая на лице холодной липкой паутиной. Илья Ильич поднял воротник куртки, сунул руки в карманы и пошёл.

Автобус останавливался в двух шагах от дома, но он всегда ходил пешком до метро. Двадцать минут быстрым шагом, через дворы, вдоль девятиэтажек, мимо детской площадки с ржавыми качелями. Не потому, что хотел сэкономить — потому что в автобусе было душно от людей и влажной одежды, а здесь, под дождём, можно было побыть одному. Или хотя бы сделать вид, что ты один.

Толпа текла навстречу и обгоняла. Из дворов выходили люди, вливались в общий ручей, неслись к турникетам. Илья Ильич смотрел на них и чувствовал странное, давно привычное отчуждение — будто он не участник этого движения, а зритель, случайно оказавшийся на съёмках фильма, где все актёры заняты своим делом и не замечают его.

Глаза были опущены. Все. Как по команде. Молодые и ста-

рые, женщины и мужчины — они смотрели в экраны телефонов, которые несли в руках, как свечи на похоронах. Пальцы скользили по стеклу, большие пальцы тыкали в кнопки, глаза бегали по строчкам, а лица — лица были выключены.

Женщина с коляской вывернула из-за угла, чуть не задев его колесом. Илья Ильич посторонился. Женщина была молодая, в спортивном костюме, с мокрыми от дождя волосами. Одной рукой она толкала коляску, другой держала телефон, и большой палец методично, как заведённый, листал ленту вверх, вверх, вверх. Из коляски раздавался плач — тонкий, надрывный, требовательный. Ребёнку было мокро? Холодно? Он хотел есть? Женщина не слышала. Глаза её были прикованы к экрану, губы чуть шевелились, читая чужие посты. Она прошла мимо, и плач затих за спиной, заглушённый шумом дождя.

Чуть дальше, у ларька с цветами, стояли пожилые. Старик и старуха, оба с палками, оба в одинаковых прорезиненных плащах. Они не разговаривали друг с другом. Они смотрели в телефоны. Старик держал свой неуклюже, как держат инструмент, которым не умеют пользоваться, — растопыренными пальцами, близко к глазам. Подарили дети. Чтобы не отставал. Чтобы был как все. Чтобы смотрел в экран, а не по сторонам. На лице его было выражение сосредоточенной растерянности — он пытался понять, что ему показывают, и

не понимал, но продолжал смотреть, потому что так надо.

Молодые шли быстро, почти бежали. Уши залеплены на-ушниками, взгляд направлен в точку на асфальте в двух метрах перед собой. Никто ни на кого не смотрел. Если сталкивались плечами — не поднимали глаз, не извинялись. Просто плыли дальше, как рыбы в аквариуме, не замечая стекла.

Илья Ильич шёл и чувствовал, как это зрелище вдавлива-ется в него, оседает внутри холодным осадком.

"Мы умерли, — подумал он вдруг, и мысль была не но-вая, старая, но сегодня отчего-то острая, как заноза. — Мы умерли, а хоронить забыли. Тела ходят, едят, спят, размно-жаются. А души — вышли в офлайн. И не вернуться уже".

Он посмотрел на свои ноги. Ноги шли по асфальту, оги-бали лужи, ускорялись, приближаясь к спуску в метро. Он тоже смотрел в асфальт. Потому что если поднять глаза — увидишь таких же мёртвых. Или живых? А есть ли здесь жи-вые?

Вопрос повис в воздухе, смешался с дождём, растворился в серости.

Впереди возникло жерло метро — широкая пасть, загла-

тывающая людские ручейки. Турникеты лязгали, проглатывая карточки и жетоны, толпа несла, подхватывала, вдавливала в этот лязгающий механизм. Илья Ильич приложил телефон к считывателю, турникет щёлкнул, пропуская, и он нырнул вниз, в подземелье.

Эскалатор гудел ровно, устало, как старая заводская машина. Люди стояли на ступенях тесно, но каждый был сам по себе. В глазах — экраны. В ушах — музыка. Внутри — пустота.

Вагон подошёл сразу. Илья Ильич втиснулся, нашарил поручень, встал лицом к стеклу. Поезд дёрнулся, лязгнул, поехал.

В тёмном стекле напротив он видел своё отражение — бледное пятно с провалами глаз. Рядом с ним отражались другие лица. Они накладывались друг на друга, сливались в одно многослойное привидение, плывущее в черноте тоннеля. Вагон качало, и лица колыхались, расплывались, теряли границы.

Он смотрел на это общее лицо толпы, составленное из десятков мёртвых масок, и думал о том, что где-то там, наверху, идёт дождь, плачет ребёнок в коляске, старик не понимает, зачем ему телефон, а он сам, Илья Ильич Обломов-млад-

ший, сорока двух лет от роду, стоит в вагоне и не знает, живой он или уже тоже — часть этого общего, стёртого, мёртвого лица.

Поезд нёс его в тоннеле. За окном мелькали чёрные стены. Света не было. Только отражения. Только пустота.

Сцена 5. Офис

Лифт выплюнул Илью Ильича на четырнадцатом этаже. Стеклопанная дверь с магнитным замком приветственно пискнула, впуская в чрево. Офис открытого типа дышал кондиционированным воздухом — стерильным, прохладным, безжизненным, как операционная после обработки. Двадцать столов стояли ровными рядами, мониторы выстроились в затылок друг другу, головы над мониторами склонились в одинаковом угле. Наушники. У всех наушники. Белые провода тянулись к системным блокам, как капельницы к пациентам.

Илья Ильич прошёл к своему месту у окна. Кто-то из коллег поднял голову, кивнул — коротко, не останавливая взгляда — и снова уткнулся в экран. Другие не заметили его появления вообще. Только стук клавиш висел в воздухе — нервный, частый, как стук телеграфных аппаратов. И кашель. Кто-то кашлял в дальнем углу — сухо, натужно, механически.

Он сел. Кресло скрипнуло под ним привычно, жалобно. Экран монитора загорелся, потребовал пароль. Илья Ильич ввёл комбинацию пальцев, выученную за двадцать лет до степени рефлекса. Рабочий стол загрузился — иконки, пап-

ки, таблицы. Цифры. Миллионы цифр, которые нужно складывать, вычитать, сводить в отчёты, которые потом посмотрит кто-то другой и положит в другую папку.

Рядом за столом сидел Павел. Молодой, лет двадцати восьми, в модной клетчатой рубашке, с бородкой, подстриженной по последним видео из TikTok. Наушники у него были огромные, геймерские, с подсветкой, которая мигала даже сейчас, на работе. Павел не работал. Павел говорил по телефону, не понижая голоса, будто вокруг была не звукопроницаемая тишина офиса, а шумный рынок.

— Слушай, я вчера стрим записал, — голос Павла врезался в клавишный стук, как дрель в стену. — Зашло на двести косаря! Там такие интерактивы, закачаешься! Короче, запускаем новый сезон «Попаданцев», я буду комментировать, чисто поржать!

Илья Ильич смотрел на него. Павел жестикулировал свободной рукой, глаза его горели, рот растягивался в улыбке, обнажая белые, ровные зубы. Он был полон энергии, жизни, страсти. Он говорил о стриме, о деньгах, о «попаданцах» — каких-то там виртуальных персонажах, которые попадают в прошлое или будущее, чтобы развлекать таких же, как Павел, зрителей, которые будут смотреть на это и «чисто поржать».

— Да легко! — продолжал Павел. — Я там такую кринжовую ситуацию замутил, подписчики орут! В общем, вечером скину нарезку...

Он жив? — подумал Илья Ильич, глядя на бьющегося в словесном экстазе коллегу. — Он реально жив? Или мне кажется?

Павел был жив. В том смысле, что кровь прилиwała к его щекам, голосовые связки вибрировали, пальцы сжимали телефон. Но что внутри? Что двигало им? Желание заработать? Смешить людей? Или просто заполнить пустоту этим шумом, этим «зашло на двести косаря», этой бесконечной говорильней о том, что не имеет значения?

Илья Ильич отвернулся к монитору. Открыл таблицу. Цифры смотрели на него ровными рядами, как могильные плиты на военном кладбище. Дебет, кредит, сальдо. Квартальный баланс. Всё сходится. Всё всегда сходится, если правильно считать.

Двадцать лет. Он сидел за этой клавиатурой двадцать лет. Сначала в другой компании, потом здесь. Менялись мониторы, менялись версии Excel, менялись коллеги. А он сидел. И считал. Что создано за двадцать лет? Что останется после

него?

Ничего. Даже таблицы — их стирают, когда отчёт сдан. Даже отчёты — их читают и выбрасывают в корзину. Даже память о нём — если он завтра не придёт, кто-то скажет: «А где Обломов? Болеет?» И через неделю забудут.

— ...короче, там такие бабки, я сам охренел! — долетало слева.

Илья Ильич смотрел в экран и думал о том, что всё это можно автоматизировать. Давно. Есть программы, которые считают быстрее и точнее. Людей держат, чтобы было кому платить зарплату. Чтобы люди приходили, сидели в креслах, дышали кондиционированным воздухом и делали вид, что это нужно. Что они нужны. А на самом деле...

Он поймал себя на том, что не додумал мысль. И не захотел додумывать. Потому что если додумать — надо встать и уйти. Или лечь и не вставать. А он не мог ни того, ни другого. Он мог только сидеть и смотреть на цифры, которые складываются в отчёты, которые никому не нужны, кроме таких же, как он, мёртвых бухгалтеров, проверяющих мёртвые цифры для мёртвых начальников.

— О! Илюх, привет! — Павел наконец отключился и за-

метил соседа. — Че молчишь? Нормально всё?

— Нормально, — ответил Илья Ильич, не поворачивая головы.

— Слушай, ты прикинь, я вчера...

Илья Ильич кивнул, изображая участие. Павел рассказывал что-то о стриме, о бабках, о «попаданцах», которые смешно тупят в прошлом. Илья Ильич смотрел на его живое, возбуждённое лицо и думал: «Ты жив? Ты правда жив? Или твоя жизнь — это такой же сон, только с другим наполнителем? С “двумястами косарями” вместо квартальных отчётов?»

Ответа не было. Павел говорил, клавиши стучали, кондиционер гудел, нагнетая стерильную свежесть. Зомби-фабрика работала в обычном режиме. Илья Ильич снова уткнулся в таблицу, и цифры сомкнулись над его головой, как вода над утопленником.

Сцена 6. Рабочий процесс

Цифры плыли. Они выстраивались в строки, в колонки, в суммы, они мигали курсором в ячейках, которые нужно было заполнить, и Илья Ильич заполнял их, не глядя, не думая, просто перенося взгляд с одной бумажки на другую, с одной таблицы на третью. Пальцы сами нажимали клавиши: Ctrl+C, Ctrl+V, Enter. Ctrl+C, Ctrl+V, Enter. Двадцать лет мышечной памяти работали точнее мозга.

Он поймал себя на том, что не помнит, что делал последние полчаса. Вообще. Провал. Чёрная дыра, в которую провалилось время, а он сидел здесь, перед монитором, и что-то делал, но что — тело помнило, а сознание — нет. Будто его не было. Будто он выключился, а включился только сейчас, когда взгляд упёрся в итоговую строчку и потребовал осмысления.

"Ничего себе", — подумал он вяло. Мысль не испугала, не удивила, просто отметилась где-то на периферии и угасла.

В наушниках, которые он надел, чтобы не слышать Павла, играла тихая музыка. Он не помнил, когда включил её. Не помнил, какую кнопку нажимал. Просто музыка была — чу-

жая, кем-то составленная подборка, чтобы заглушать чужие голоса и собственные мысли.

Телефон на столе замигал. Внутренняя связь. Начальник.

Илья Ильич снял наушники, нажал кнопку.

— Обломов, — сказал голос в трубке. Сухой, деловитый, без интонаций. — Отчёт когда?

Илья Ильич посмотрел на экран. Отчёт был открыт. Наполовину готов. Можно было сказать «завтра», потому что завтра был последний срок, а сегодня он успеет, если не отвлекаться. Но язык сам, помимо воли, произнёс:

— Завтра будет.

Пауза. Начальник не любил пауз.

— А почему не сегодня? — голос стал жёстче, но ровно настолько, чтобы обозначить недовольство, не переходя в крик.

Илья Ильич смотрел в окно за монитором. Там было серо. Небо висело низко, на уровне четырнадцатого этажа, и казалось, что офис плывёт в молоке.

— Потому что сегодня — сегодня, — ответил он.

Сказал и замер. Это вырвалось. Это была не дерзость, нет — просто констатация факта. Но в мире, где всё должно быть вчера, где планы расписаны на год вперёд, где каждый час учтён и расписан по задачам, такая простая правда звучала как издевательство.

Начальник молчал секунду, две. Потом в трубке щёлкнуло — он повесил, не сказав ни слова. Не понял иронии. Или понял, но не нашёл, что ответить.

Илья Ильич почувствовал, как уголки губ сами собой дрогнули. Улыбка. Короткая, быстрая, почти незаметная. Маленькая победа над системой. Над этим бесконечным конвейером «надо», «срочно», «почему не сегодня». Он сказал правду — простую, как этот серый день, — и правда оказалась сильнее. Сегодня — это сегодня. И отчёт будет завтра. Потому что так устроен мир, а не потому что начальник хочет иначе.

Улыбка погасла. Илья Ильич посмотрел на телефон. Чёрная трубка, кнопки, провода. Почему он не может сказать это в глаза? Почему только по телефону, когда не видишь лица, не видишь реакции, когда голос идёт по проводам и можно

представить, что говоришь не с человеком, а с автоматом?

В глаза он бы не сказал. Он знал это точно. Увидел бы этот взгляд — холодный, оценивающий, — и язык прилип бы к нёбу. Съёжился бы, забормотал, извинился. А по телефону — легко. По телефону он мог быть смелым, ироничным, даже дерзким. Потому что телефон — это тоже экран. Тоже защита. Тоже способ не встречаться с живым человеком.

Он нажал отбой, снова надел наушники. Музыка лилась та же, что и до разговора. Пальцы снова легли на клавиши. Ctrl+C, Ctrl+V, Enter. Цифры поплыли, смыкаясь над головой.

Он не заметил, как прошёл следующий час. Провал. Снова провал. Только курсор мигал на экране, требуя новых данных, и пальцы послушно вбивали их из ведомости, которую он держал левой рукой. Когда ведомость кончилась, Илья Ильич отложил её, посмотрел на время. Было одиннадцать утра. До обеда ещё час. Цифры ждали. Отчёт ждал. Завтра наступит, и начальник получит свои бумажки, и никто не вспомнит, что сегодня было сегодня, а он, Илья Ильич, одержал маленькую победу, о которой даже некому рассказать.

Он снова уткнулся в монитор. Пальцы забегали. В наушниках пел кто-то чужой, с чужими проблемами, чужой жизнью. Илья Ильич плыл по течению цифр, и это было даже

удобно — не думать, не чувствовать, просто плыть. До самого вечера. До завтра. До следующей маленькой победы, которую он одержит по телефону и тут же забудет

Сцена 7. Обед

Столовая помещалась в подвале. Илья Ильич спустился по бетонным ступеням, толкнул пластиковую дверь, и его накрыло запахом — подогретой еды, моющего средства и человеческих тел, собранных в ограниченном пространстве. Очередь тянулась от раздачи, извивалась между столиков и упиралась в кассу. Люди с подносами двигались медленно, как сомнамбулы, выбирая еду из лотков глазами, в которых давно погас любой огонь.

Он встал в хвост. Впереди стояла женщина лет пятидесяти в бесформенном кардигане. Она смотрела в одну точку на стене. Рядом с ней мужчина в дешёвом костюме листал ленту в телефоне, и пальцы его двигались автоматически, не требуя участия мозга. Дальше — молодые, все с телефонами, все в наушниках, все отсутствующие. Очередь дышала, переступала с ноги на ногу, кашляла, но не говорила. Только звон подносов и короткие "мне это, это и вот это" нарушали тишину.

Илья Ильич взял поднос. Суп — жидкий, с плавающими желтыми пятнами жира. Второе — пюре с котлетой, которая лежала здесь с утра и успела заветриться. Компот — мутный,

сладкий, в пластиковом стаканчике. Он расплатился картой (телефон пискнул, списав деньги, которые он даже не увидел) и пошёл искать место.

Свободный столик нашёлся в углу, у стены, рядом с компанией молодых. Те самые, из офиса — Павел и ещё трое, парни и девушка, все с подносами, все возбуждённые, громкие. Они смеялись, перебивали друг друга, жестикулировали вилками. Илья Ильич сел спиной к ним, надеясь, что шум сольётся с общим гулом столовой, но голоса пробивались сквозь любой шум — молодые, звонкие, уверенные.

— Представляешь, он там без интернета, — говорил парень с бородкой, не Павел, другой, — без туалетной бумаги, а ему надо выживать! Чисто угар!

Девушка захихикала, прикрывая рот ладошкой:

— А если его медведь съест? Там же в лесу медведи!

— Да ладно, там симуляция, — отмахнулся бородатый.
— Мозг просто отключат, если что. Техника безопасности.

— А я слышал, в новой серии «Попаданцев» сделают полное погружение, — подхватил Павел. — Типа ты реально чувствуешь всё: холод, голод, боль. Прикинь, какой хайп?

— Боль? — переспросила девушка. — А это не опасно?

— Да что ты, — успокоил её Павел. — Это же игра. Нажмут кнопку — и ты в безопасности. Чисто попробовать, каково это — жить по-настоящему. Но без последствий.

Илья Ильич сидел к ним спиной и смотрел в свою тарелку. Суп остывал, жир застывал жёлтой плёнкой. Он поднёс ложку ко рту, проглотил — без вкуса, без ощущения. Пальцы сжимали ложку, но он не чувствовал их. Он слышал только их голоса.

— ...без последствий.

Вилка, которой он пытался наколоть котлету, дрогнула. Пальцы сжались сильнее, побелели на костяшках. Внутри, где-то в груди, поднялось что-то тёмное, горячее, давно забытое. Не гнев даже — отвращение. Острое, физическое, как при виде разлагающейся пищи.

Симуляция. Для них всё симуляция.

Война — симуляция. Смерть — симуляция. Можно нажать кнопку, и мозг отключат, и ты в безопасности. Можно попробовать жить по-настоящему — но без последствий. А

любовь? Любовь — свайп вправо, если не понравилось — свайп влево, заблокировать, удалить из друзей. Всё без последствий. Всё понарошку. Всё — игра.

«Господи, — подумал он, и мысль была тяжёлой, как камень на дне, — куда мы катимся?»

Они смеялись за спиной. Звонко, легко, беззаботно. Они обсуждали, каково это — жить по-настоящему. Как будто настоящая жизнь — это аттракцион, который можно включить и выключить по желанию. Как будто боль, страх, смерть — это спецэффекты для хайпа. Как будто они сами...

Он не додумал. Встал. Поднос остался на столе — суп недоеден, котлета не тронута, компот стоит, мутный и сладкий. Илья Ильич пошёл к выходу, лавируя между столиками, не глядя по сторонам.

— О, Илюх, ты уже? — донеслось вслед. Павел, кажется.
— А чего не доел? Невкусно?

Он не ответил. Толкнул пластиковую дверь, пошёл вверх по бетонным ступеням. За спиной, в подвале, взорвался смех — громкий, молодой, беззаботный. Они смеялись над чем-то своим. Может, над ним. Может, над «попаданцами». Может, просто так, потому что могли смеяться, потому что

жизнь была игрой, где смех — самый лёгкий уровень сложности.

Наверху, в холле, пахло кондиционером и пластиком. Илья Ильич остановился у окна, посмотрел на серое небо. Руки дрожали мелкой, незаметной дрожью. Он сунул их в карманы, сжал в кулаки.

Желудок был пуст. Внутри тоже было пусто — только это тёмное, горячее, что поднялось там, в столовой, медленно остывало, превращаясь в привычную тяжесть. Ту самую, с которой он жил каждый день.

Он постоял ещё минуту, глядя в никуда, потом пошёл к лифту. Обед кончился. Пора было возвращаться к цифрам, которые хотя бы не притворялись жизнью.

Сцена 8. Возвращение домой. Вечер

Вагон метро качало, бросало из стороны в сторону, и люди качались вместе с ним, послушные, как маятники. Илья Ильич стоял у двери, прижавшись лопатками к холодному пластику, и смотрел в тёмное стекло напротив. Там, в чёрной глубине, плыли отражения — усталые лица, опущенные плечи, руки, сжимающие поручни и телефоны. Своё лицо он тоже видел — серое пятно с провалами глаз, такое же, как все.

Парень с гитарой вошёл на предыдущей станции. Молодой, длинноволосый, с чехлом за спиной. Он встал в центре вагона, достал гитару, тронул струны. Песня была старая, "Сплин", про звезду по имени Солнце, которая светит и не греет. Парень пел негромко, но чисто, и голос его пробивался сквозь стук колёс.

Никто не слушал. Все смотрели в экраны. Пальцы скользили по стёклам, глаза бегали по строчкам, уши были залеплены наушниками. Парень пел для себя, для пустоты вагона, для отражений в тёмном стекле. Иногда кто-то поднимал го-

лову, смотрел сквозь него, не видя, и снова утыкался в телефон. Песня текла мимо них, как вода мимо камней.

Илья Ильич слушал. Слова были знакомые, про то, что все идут на восток, а он идёт на запад, и холодный ветер дует в лицо. Про то, что жизнь — это не кино, и хэппи-энда не будет. Парень допел, помолчал, потом перебрал струны и заиграл что-то другое, незнакомое. В шапку на полу упало две монеты — кто-то бросил, не глядя, просто чтобы отвязался.

Станция Ильи Ильича объявилась женским голосом, записанным давно и звучащим как с того света. Он вышел. Парень с гитарой остался в вагоне, и дверь отрезала его песню, как нож отрезает кусок хлеба.

На улице моросил тот же дождь, что и утром, или другой, такой же. Воздух пах мокрым асфальтом и выхлопами. Илья Ильич шёл знакомым маршрутом, не глядя по сторонам, — дворы, девятиэтажки, детская площадка с ржавыми качелями, мусорные баки, из которых торчали пакеты. Фонари светили тускло, желто, освещая только лужи и никому не нужную траву у подъездов.

Подъезд встретил его запахом — кошки, сырости, подвала и ещё чего-то кислого, въевшегося в стены за годы. Дверь подъезда была сломана и не закрывалась, поэтому внутри

было холодно, как на улице. Лампочка на первом этаже не горела — третью неделю. Жильцы писали в управляющую компанию, но бесполезно. Илья Ильич нащупал в темноте перила, пошёл вверх.

Лифт не работал. Тоже третью неделю. В лифтовой шахте что-то гремело, когда ветер дул с нужной стороны, но кабинка стояла где-то на верхних этажах, мёртвая и бесполезная. Пять этажей пешком. По знакомым ступеням, мимо знакомых дверей, мимо запахов чужих жизней, просачивающихся сквозь щели.

На третьем этаже он услышал тяжёлое дыхание. На четвёртом — увидел.

Она стояла на лестничной клетке, привалившись к стене, и пыталась перевести дух. Соседка с пятого этажа, с той же площадки, где жил он. Маша. Имени её он не знал точно, но где-то слышал — Мария Львовна, кажется. Лет тридцати восьми, симпатичная, но уставшая всегда, в домашней одежде, с волосами, собранными в небрежный пучок.

Сейчас она была в пуховике, надетом нараспашку, и держала две огромные сумки с продуктами. Из сумок торчали батоны, пакет с картошкой, бутылки с водой. Сумки были тяжёлые — это видно было по тому, как врезались ручки в

ладони, как она переступала ногами, пытаюсь удержать равновесие.

Она тяжело дышала, раскрасневшаяся от подъёма, и смотрела на ступеньки, ведущие на пятый этаж. Ещё один пролёт. Ещё двадцать ступенек. С этими сумками — как каторга.

Илья Ильич замер на ступеньке ниже. Она его не видела — стояла боком, смотрела вверх. Он мог бы подойти. Сказать: «Давайте помогу». Взять одну сумку, донести до двери. Это же просто. Это естественно. Это — по-человечески.

Он открыл рот. Воздух вошёл в лёгкие, готовый сложиться в слова. Но слова не вышли. Они застряли где-то в горле, встали колом. Он смотрел на её спину, на усталый наклон головы, на руку, побелевшую от тяжести, и не мог произнести ни звука.

А если она откажется? А если подумает, что он пристаёт? А если просто не захочет, чтобы чужой мужчина трогал её сумки? А если...

Мысли бежали, мельтешили, путались. А она стояла и ждала, когда отдышится. Или не ждала — просто собиралась с силами, чтобы тащить дальше.

Илья Ильич шагнул в сторону. Обогнул её по лестнице, стараясь ступать тихо, не привлекая внимания. Прошёл мимо. Сделал вид, что не заметил. Что спешит. Что ему не до того.

Последние ступеньки он почти бежал. Дверь открыл дрожащими руками, ввалился в коридор, захлопнул за собой. Сердце колотилось где-то в ушах. Он стоял в темноте прихожей, не включая свет, и слушал, как за дверью, на лестнице, она всё ещё дышит и перекладывает сумки.

Потом её шаги. Медленные, тяжёлые. Она прошла мимо его двери, остановилась у своей. Звякнули ключи. Скрипнула дверь. Хлопок.

Тишина.

Илья Ильич сполз по стене на корточки. Сел прямо на пол, в прихожей, обхватил голову руками. Внутри было пусто и гадко, как бывает, когда сделаешь что-то мерзкое, хоть и не сделал ничего — наоборот, не сделал.

— Трус, — прошептал он в темноту. Голос прозвучал сипло, чуть слышно. — Мелкий, ничтожный трус. стыдно-то как...

Она же женщина. Ей тяжело. Две сумки, пять этажей, лифт не работает. А он? Прошёл мимо. Как все. Как все эти мёртвые в метро, в телефонах, в наушниках. Как они. Стал одним из них окончательно.

Марфа вышла из комнаты, потёрлась о его плечо, удивлённая, что хозяин сидит на полу. Он не отозвался. Сидел и смотрел в одну точку на стене, где в темноте угадывались очертания вешалки.

Чувство вины висело внутри, тяжёлое, липкое, невыносимое. И никуда его не деть. Не загладить. Не исправить. Завтра она снова будет таскать сумки, а он снова пройдёт мимо. Потому что не сможет. Потому что язык прилипнет к нёбу. Потому что он — трус.

Илья Ильич сидел на корточках в тёмной прихожей, и ему казалось, что это и есть его настоящее место. Ниже некуда. Дно. А дверь напротив — закрыта, и за ней — женщина, которой он не помог, и она даже не знает, что он мог бы помочь, но не захотел. Или захотел, но не смог. Какая разница? Результат один.

Марфа мяукнула, требуя ужина. Он не слышал.

Сцена 9. Вечер дома

В квартире было тихо. Только шум машин за окном — ровный, монотонный гул, к которому ухо привыкло настолько, что перестало замечать. Илья Ильич лежал на диване, закинув ноги на подлокотник, и смотрел в книгу. На обложке, потёртой, с загнутыми углами, красовался чёрный силуэт и название — «Идиот». Достоевский. Тот самый, которого он купил лет десять назад в переходе, прочитал тогда запоем, а потом перечитывал ещё раза три.

Сейчас не шло.

Он читал страницу. Глаза пробежали по строчкам, складывали буквы в слова, слова в предложения. Мышкин говорил что-то о смерти, о вере, о красоте, которая спасёт мир. Илья Ильич дочитывал до конца абзаца и понимал, что не помнит ни слова. Вообще. Как будто читал воду. Пустоту.

Он возвращался назад, перечитывал снова. Те же буквы, те же слова. Мышкин всё так же говорил о смерти. А мысли Ильи Ильича были не здесь. Они были там — в метро, в столовой, на лестнице. С парнем с гитарой. С Машей и её сумками. С «попаданцами», которые живут понарошку. С соб-

ственным отражением в тёмном стекле.

— Чёрт, — сказал он вслух.

Книга легла на грудь, поверх кошки. Марфа недовольно шевельнулась, но не ушла — только переложила голову поудобнее и замурлыкала громче. Тёплая, тяжёлая, живая. Единственное, что было сейчас реальным.

Илья Ильич смотрел в потолок. Трещина, знакомая до каждого изгиба, тянулась от люстры к окну, разветвлялась мелкими прожилками. Он изучил её за годы лежания на этом диване лучше, чем собственное лицо.

Почему не идёт? Раньше шло. Раньше вообще много чего шло. Он читал запоем, мог проглотить том за вечер. Спорил мысленно с авторами, соглашался, злился, перечитывал абзацы, от которых захватывало дух. А сейчас — пусто. Буквы есть, а смысла нет. Или есть, но он не пробивается. Как сквозь вату.

«Раньше» — это когда? Он попытался вспомнить, когда в последний раз книга захватывала его, вытаскивала из этой комнаты, из этой жизни. Год назад? Пять? Десять? Память молчала. Только смутное ощущение, что когда-то было иначе. Когда-то он был другим. Живее, что ли.

Мышкин. Князь Мышкин. Идиот. Тоже был не от мира сего. Смотрел на людей и не понимал, как можно жить такой жизнью — мелочной, злой, расчётливой. Хотел добра, хотел любви, хотел всех спасти. И что с ним стало? Сошёл с ума. Вернулся туда, откуда пришёл, — в швейцарскую клинику, в темноту, в ничто.

«А со мной что станет?»

Мысль пришла тихо, без драмы, просто как вопрос. Илья Ильич погладил Марфу по спине. Рука двигалась механически, сама собой, от холки до хвоста, от холки до хвоста. Кошка урчала, как маленький моторчик, и тепло её тела разливалось по животу, успокаивало, усыпляло.

Что с ним станет? Ничего. Он так и будет лежать на этом диване, гладить кошку, смотреть в потолок и пытаться читать Достоевского, который больше не открывается. Будет ходить на работу, считать чужие цифры, обедать в подвальной столовой, ездить в метро с мёртвыми лицами. Будет проходить мимо женщин с тяжёлыми сумками и ненавидеть себя за это. А потом умрёт. И никто не заметит. Даже Марфа — её кто-нибудь заберёт или выкинут на улицу.

Шум машин за окном не менялся. Ровный, бесконечный,

как дыхание большого зверя. Город дышал, жил своей жизнью, не имеющей к нему никакого отношения.

Илья Ильич закрыл глаза. Книга сползла с груди на диван, раскрылась где-то в середине, страницы загнулись под тяжестью собственной бумаги. Марфа мурлыкала, урчала, грела.

Тишина была полной, хотя машин за окном не становилось меньше. Тишина была внутри — та самая, которую он рассматривал утром в зеркале. Пустота. Ровная, гладкая, без ответов.

Он провалился в сон, сам не заметив как. Так проваливаются в яму — вдруг, сразу, без переходов. Книга осталась лежать на диване раскрытой. Кошка спала у него на животе. За окном гудел город, освещая потолок отсветами фонарей и редких машин.

Ничего не менялось. Ничего никогда не менялось.

Сцена 10. Телевизор

Он очнулся от того, что в комнате кто-то орал. Резкие, надрывные голоса пробивались сквозь сон, рвали тишину, заставляли сердце биться чаще. Илья Ильич открыл глаза, не сразу поняв, где он. Диван, потолок, кошка на животе — свои. Чужие — в телевизоре.

Экран горел синим светом в углу комнаты. Он не помнил, когда включил его. Может, перед тем как лечь с книгой, нажал на пульт автоматически, пальцы сделали своё дело, а мозг отключился. Теперь на экране кипела жизнь — та самая, громкая, чужая, которая не имела к нему отношения, но лезла в уши, требуя внимания.

Пятеро. Четверо мужчин и одна женщина. Все сидели в студии, за столами, и кричали. Рты открывались широко, руки взлетали вверх, пальцы тыкали в сторону оппонентов, лица налились кровью, глаза горели ненавистью. Тема бегущей строкой ползла внизу экрана: «Кто виноват в развале? Кто ответит за разруху?»

Они кричали все сразу. Никто не слушал друг друга. Женщина пыталась перекричать толстого мужчину в пиджаке,

толстый мужчина бил кулаком по столу, молодой с бородкой вскакивал с места и указывал пальцем в потолок, ведущий разводил руками и тоже открывал рот, пытаясь вставить хоть слово. Какофония. Базар. Бесовщина.

Илья Ильич смотрел минуту. Может, две. Лица мелькали, голоса накладывались друг на друга, слова теряли смысл, превращаясь в чистую агрессию, выплеснутую в эфир. О чём они? Да какая разница. Важно было орать. Важно было доказать, что ты прав, а он — дурак, враг, предатель. Важно было победить в этом словесном мордобое, где судьи — зрители, которые тоже орут у своих экранов.

Он потянулся за пультом. Нашёл на диване, нажал кнопку.

Звук умер.

Тишина упала на комнату, как одеяло. Стало слышно шум машин за окном, дыхание Марфы, собственное сердце. И — картинка. Люди на экране продолжали кричать, но теперь без звука. Рты открывались и закрывались, как у выброшенных на берег рыб. Руки махали в пустоте. Лица кривились в гримасах ярости, но ни одного звука не вылетало из этих ртов.

Илья Ильич смотрел и чувствовал, как внутри поднима-

ется что-то странное. Сначала щекотка в горле. Потом дрожь в губах. Потом — смех.

Он засмеялся. Тихо, сдавленно, почти беззвучно. Рыбы. Настоящие рыбы в аквариуме, которые бьются о стекло, открывают рты, требуют корма, требуют внимания, требуют, чтобы их слышали, — а их не слышно. Стекло не пропускает звук. Только картинка. Только эти судорожные движения, эти выпученные глаза, эти рты — чёрные дыры, из которых ничего не вылетает.

Смех душил его, вырывался наружу всхлипами. Марфа подняла голову, посмотрела на хозяина с недоумением, снова уронила морду на лапы. Ей не было дела до рыбок в ящике. Ей было тепло и сытно.

А потом смех прошёл. Так же внезапно, как начался. И стало холодно.

Илья Ильич смотрел на экран, и холод разливался по груди, по животу, по рукам. Лица на экране всё так же кривились, рты всё так же открывались, руки махали. Но теперь он видел другое.

— Это же мы, — прошептал он в тишину. — Это наше лицо.

Кричащее в пустоту. Никто не слышит. Никто не слушает. Все кричат сами, все машут руками, все хотят быть правыми, все хотят победить в этом бесконечном споре, который не имеет значения. Потому что за стеклом — тишина. Потому что за стеклом — такие же рыбы, только в другом аквариуме. Потому что никто никого не слышит уже давно.

Он смотрел на немой экран, и ему казалось, что он видит не телевизор, а окно в огромный зал, где человечество корчится в судорогах собственной злобы, собственного бессилия, собственной глупости. И все эти крики, все эти споры, все эти «кто виноват» и «что делать» — просто шум, которым люди заполняют пустоту внутри. Потому что если замолчать — услышишь её. Эту пустоту. Которая у каждого своя, но на всех одна.

Телеведущий на экране что-то говорил, обращаясь к камере. Рот его открывался широко, глаза смотрели прямо на Илью Ильича, рука указывала куда-то в сторону. Он был похож на проповедника, вещающего истину, но без звука это выглядело жалко. Жалко и страшно.

Илья Ильич поднял пульт, нажал красную кнопку. Экран моргнул и погас. Чернота. Теперь в комнате было действительно тихо. Только машины за окном. Только Марфа. Толь-

ко он сам и его мысли, которые никому не нужны, как крики тех, кто остался в чёрном ящике.

Он долго сидел в темноте, глядя на погасший экран. Потом перевёл взгляд на книгу, валявшуюся на диване. «Идиот». Мышкин смотрел на людей и не понимал, как можно жить такой жизнью. А Илья Ильич понимал. Можно. Именно так и живут. Кричат в пустоту, пока не охрипнут. А потом умирают. И никто не слышит.

— Господи, — выдохнул он. — Господи, помилуй.

Слова пришли сами, откуда-то из детства, из бабушкиных молитв, которые она шептала перед сном. Он не верил в Бога. Но сейчас эти слова легли на душу, как камешки на дно, — тяжело и спокойно.

Марфа заворочалась, перевернулась на другой бок, подставила пузо. Илья Ильич погладил её, механически, и уставился в потолок, где трещина тянулась от люстры к окну, разветвляясь мелкими прожилками. Карта его жизни. Пройденная до конца.

Сцена 11. Интернет

Телефон лежал на груди. Илья Ильич взял его сам не знал зачем — просто рука потянулась, пальцы нащупали холодный пластик, большой палец привычно ткнул в кнопку разблокировки. Экран вспыхнул синим светом, осветив потолок, лицо, кошачий бок.

Лента потекла.

Он листал. Сверху вниз, сверху вниз, одним движением большого пальца, отработанным до автоматизма. Картинки мелькали, сменяя друг друга, выхваченные из чужих жизней, чужих кухонь, чужих постелей. Вот женщина красит губы — крупным планом, тубик, кисточка, розовый блеск на нижней губе. Вот кошка — не Марфа, чужая, полосатая, жрёт корм из миски с цветочками. Вот двое ссорятся в комментариях — матерятся, оскорбляют друг друга, кидаются скриншотами, как какашками.

Листал. Дальше. Кто-то жарит яичницу. Кто-то показывает новую сумку. Кто-то плачет — настоящее видео, слёзы текут по щекам, размазывают тушь, голос дрожит: «Он меня бросил, подписчики, как мне жить дальше?» Под видео —

тысяча сердечек и комментарии: «Держись», «Ты сильная», «Найдешь лучше».

Листал. Дальше. Мем с котом. Мем с собакой. Мем с политиком, у которого смешное лицо. Новость: вчера в центре убили человека. Новость: завтра будет дождь. Новость: звезда развелась со звездой. Комментарии под новостью про убийство: «Так ему и надо», «Почему так мало?», «А где наши власти смотрят?»

Листал. Палец двигался сам, глаза бегали по строчкам, по картинкам, по лицам. В голове не задерживалось ничего — просто поток, просто шум, просто белый свет, мелькающий с частотой 60 герц. Хорошо. Забыться. Не думать. Просто листать, листать, листать, пока не заболят глаза, пока не затечёт шея, пока не поймёшь, что прошёл час, а ты всё ещё здесь, на том же диване, с тем же телефоном в руках.

Он очнулся от того, что Марфа спрыгнула с живота. Видимо, ей надоело, что хозяин не замечает её, не гладит, не разговаривает. Она ушла на кухню, звякнула миской — напоминание о том, что в мире есть что-то кроме экрана.

Илья Ильич поднял голову, посмотрел на часы в углу дисплея. 23:47. Он сел читать книгу в десятом. Потом был телевизор. Потом — телефон. Сколько сейчас? Он нажал кноп-

ку, экран показал время: 00:52.

Час. Почти час.

Ужас пришёл не сразу. Сначала просто цифры — 00:52, — потом осознание: час жизни. Час. Украл у себя час. Просто листая ленту. Смотря, как чужая женщина красит губы. Как чужая кошка жрёт корм. Как чужие люди ссорятся из-за того, что через три дня забудут.

Илья Ильич отложил телефон на диван, экраном вниз. Посмотрел на свои руки. Они дрожали мелкой дрожью — пальцы, которые только что листали, листали, листали, не могли остановиться.

— Зачем? — спросил он вслух. Голос был тихий, хриплый. — Зачем я это делаю?

Ответа не было. Комната молчала. Телефон молчал, спрятав экран. Марфа на кухне перестала звякать миской — наелась, наверное, и теперь спит где-нибудь в углу.

Зачем он это делает? Чтобы убить время? Но время и так еле ползёт, каждую минуту тащит на себе, как каторжник ядро. Чтобы узнать новости? Но новости — те же крики рыб в телевизоре, только без картинки. Чтобы почувствовать себя

живым? Но чужая жизнь не делает его живее. Наоборот. После часа в ленте он чувствует себя ещё более мёртвым, ещё более пустым, чем до.

Это наркотик. Он знал это. Все знают. Но продолжают листать. Потому что остановиться труднее, чем продолжать. Потому что если остановиться — останешься один на один с собой. С этой комнатой. С этой тишиной. С этими мыслями, которые никуда не делись, а только ждали, когда ты вынырнешь из экрана.

Он полежал минуту. Может, две. Смотрел в потолок, на трещину, на игру теней от фонарей за окном. Потом рука сама потянулась к телефону. Пальцы нащупали, перевернули, ткнули в экран. Лента засветилась снова.

Новая женщина красила губы. Новая кошка ела новый корм. Новые люди ссорились в новых комментариях. Палец поехал вниз, вниз, вниз.

— Ну и пусть, — прошептал Илья Ильич в темноту. — Ну и пусть.

Он листал. Листал. Листал. И не мог остановиться. Знал, что это яд. Знал, что это крадёт время. Знал, что утром будет ненавидеть себя за эту ночь. Но палец всё двигался, дви-

гался, двигался, и в этом движении было единственное спасение — от мыслей, от тишины, от самого себя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.